

л 2010

25266к

*Александр
Губнев*

3



Абдукаим
Абдураманов
3



Абдукашим
Нурмиев

Собрание сочинений
в трех томах

Москва
„Молодая гвардия“
1990

Л 2010/25266К 894.342-3

Н 904

К

Абдижаши
Нурмисов

Том третий

Долг

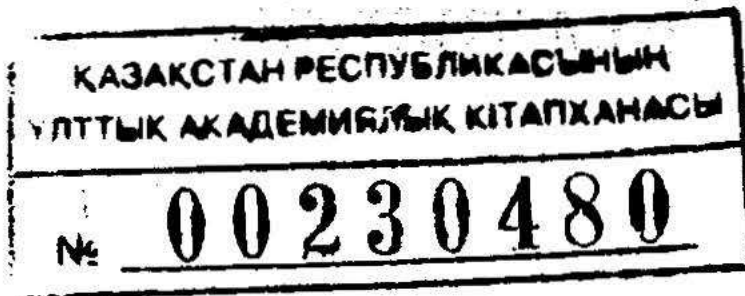
роман

*Литературные
портреты*

Москва
„Молодая гвардия“
1990

821.101.1-512.122-3

ББК 84Каз7
Н 90



Нурпеисов А. К.

Н 90 Собрание сочинений : В 3-х т. Т. 3. Долг : Роман. / Авториз. пер. с каз. Г. Бельгера и П. Краснова; Литературные портреты. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 382[2] с.

ISBN 5-235-00927-4 (т. 3)
ISBN 5-235-00141-9

В третий том вошел роман «Долг» — остросоциальное произведение о жизни рыбацкого поселка на берегу гибнущего Аральского моря. Помимо романа, в последний том включены литературные портреты.

Н 4702250201—120 Свод. пл. подписных изд. 1990 ББК 84Каз7
078(02)—90

ISBN 5-235-00927-4 (т. 3)
ISBN 5-235-00141-9

© Нурпеисов А. К.,
1990 г.

Долг

роман

Авторизованный
перевод с казахского
Г. Бельгера и П. Краснова

Я не чинил людям зла...
Я не убивал...
Я не преграждал путь бегущей воде...

«Книга мертвых».
Оправдательная речь умершего
(Из древнего египетского папируса)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Темнолицый высокий человек, сутулясь, смотрел на свои следы. Он смотрел долго и заворожено, силясь что-то понять и еще не сознавая, что вдруг зацепило его внимание. Просто оглянулся назад, туда, на кручу, где в зимней мгле темнел рыбачий аул, и взгляд его, скользнув привычно, споткнулся вдруг об эти следы на ранней пухлой пороше. Неровные, тяжелые следы усталого человека... Он сам не знал почему, но вызывали они тоску. Было в них что-то нескладное, не в ладу со всем, — что они напоминали, почему тревожили? Постой... да не всю ли жизнь твою?! Не эта разве нескладность твоя все тринадцать лет угнетала Бакизат? И вот чем все кончилось: одинокий, неприкаянный, с утра томишься ты на пустынном ледяном поле. Не зря кем-то сказано: «Жизнь на исходе лет — что лоскут изодранный». Должно быть, в минуту отчаяния обронил кто-то эти слова, исполненные безысходной печали, а вот сейчас они — кстати и некстати — вспоминались тебе, стали и твоими тоже. А ведь в душе ты давно предчувствовал, пусть смутно, но знал, что именно к этому, а не к чему-либо иному придет ваша супружеская жизнь. Но так уж создан человек: в счастливую пору он гонит мрачные предчувствия. А ты тогда был просто оглушен нежданно свалившимся, да нет — обрушившимся на тебя счастьем. После свадьбы ты, дипломированный специалист, точно в небо вознесся — и земли-то под собой не чуял. Почет и лесть аульчан, сбывшиеся мечты кружили голову, надежды пьяни-

ли. И все же в глубине души ты сознавал, что твоей заслуги в том немного. Сознавал, что кроме как на старую мать-пенсионерку да на собственные мосластые руки и ноги полагаться тебе не на кого и не на что. А чего достигнешь в этой жизни, уповая лишь на самого себя?

Но то было до женитьбы... О, как ты ликовал в тот день, когда вручили вам дипломы! На радостях новоиспеченные специалисты всю ночь напролет пели, шумели, резвились, тревожа сны горожан, разве только не вламывались всей шумной ватагой в чужие квартиры... А наутро, подержав гудящую голову под струей из крана, ты поспешно собрался в дорогу. Подальше упрятав в карман плотные «корочки», ради которых пять долгих лет усердно протирал штаны, ты заспешил в родной аул, весело мыча под нос незатейливый мотивчик: «О Арал, мой Арал, синее раздолье...» Твоя невеста ненадолго задержалась в городе, ты же до ее приезда спешил устроиться на работу по специальности.

Провожала Бакизат не одна, с подругами. Перед самым отходом поезда девушки вдруг расшалились, пристали к жениху и невесте: «Поцелуйтесь!..» Ты, вообще-то, ничего не имел против, однако сам не решался и, робея, смущенно поглядывал на Бакизат. А она в ответ с едва уловимой досадой подмигнула: дескать, не обращай внимания, мало ли что взбредет в голову подружкам. Но проказницы не отставали и, похихикивая, все подталкивали вас друг к другу. Бакизат казалась подавленной. На утомленном лице ее слабо мелькнула улыбка. Чтобы отвязаться от наседавших подруг, она поднесла к алевшим губам кончики пальцев, изобразила звучный поцелуй.

Поезд тихо тронулся. Ты несколькими прыжками настиг последний вагон, вскочил на подножку. И пока пассажирский состав медленно утягивался за поворот, ты, высунувшись из тамбура, во все глаза смотрел туда, на перрон, где оставалась твоя невеста в окружении подруг. Она помахала было рукой — и с внезапным озорством состроила вдруг плаксивую гримасу, дернула подбородком и смахнула пальчиком воображаемую слезу. Девушки умирали со смеху.

А поезд между тем набирал скорость. Мимо иных станций пронёсился ветром. Мелькали разъезды, саманные домишки с огородами... чья-то жизнь. Гурьевский прицепной с грохотом мотало из стороны в сторону, того и гляди, снесет на полном ходу с рельсов. Давно пере-

валило за полпочь, близился рассвет, а сон все никак не шел к тебе. Вразнобой храпели пассажиры, сразу после ужина улегшиеся спать. Духота становилась невыносимой. За всю ночь ты так и не сомкнул глаз. Наконец забрезжило, слабый свет занимающегося дня проник в вагон.

Как мила и как непохожа была Бакизат, провожавшая тебя на перроне, на ту, которую ты знал все эти годы. А ведь ходили слухи, что она вот-вот выйдет замуж за Азима, и никто уже, и ты сам тоже, ничуть в этом не сомневался, — и вдруг ни с того ни с сего что-то между ними разладилось. Аральские ребята, обучавшиеся в столице, диву давались, при встречах недоуменно расспрашивали друг друга, но никто ничего толком объяснить не мог. А прошли какие-то дни, и твоих земляков ошарашила еще одна новость, на сей раз — о вашей скорой свадьбе... Это казалось им вовсе непостижимым, прямо-таки в голове не укладывалось. И только ты... один ты не чуял под собою ног. В те дни ты и по земле-то не ступал, все витал, птицей витал где-то в облаках. Там, внизу, на тесном и душном асфальте, суетились, спешили куда-то вечно озабоченные люди, а ты парил себе безмятежно в голубом пространстве между небом и землей, подставляя разгоряченную голову всем ветеркам. И лишь каждый раз при встрече с Бакизат розовый туман твоих восторгов мгновенно развеивался, истаявал, и ты вновь возвращался к тусклым житейским будням. После затяжного зимнего смога город у подножия сурово вздыбленных гор казался угрюмым, как невыспавшийся человек. Грязно-серыми были асфальт, дома. Серыми были улицы. Невзрачно серыми — люди. Разбрызгивая серую грязь, носились, мельтешили взад-вперед серые машины. И, как бы не желая выделяться в этом однообразном сером мире, твоя невеста тоже одевалась во все серенькое, и таким же грустным и серым было ее лицо. Ты, конечно, догадывался о причине ее грусти, отчего она ходит такой подавленной, и порой у тебя перехватывало дыхание, огнем ревности и стыда вспыхивали уши. И ты стоял перед ней, невольно опустив голову, не в силах вымолвить слово, и обреченно смотрел на носок своего обшарпанного ботинка...

Но как, однако, мотает на верхней полке прицепного вагона! А ты все думал о Бакизат и ее подругах — как они провожали, смеялись...

— Эй, парень! Подъезжаем к Аральску...

Ты вскочил. Быстро собрался. И, едва стрыгнув с поезда, тотчас тронувшегося, почувствовал, как жарко здесь. До самой осени нещадно палит раскаленное аральское небо и веет по степи ураганный ветер, исщепеляя все вокруг. Особенно невыносимой становилась жара в полдень, когда, казалось, даже сама тень плавилась, сжималась, стараясь упрятаться под чахлыми пыльными деревцами на узких и кривых улочках маленького городка, резко пахнувших солончаковой пылью, перекаленным саманом. И вот по этому городку бродил ты в поисках работы не один день. По распределению тебе следовало бы ехать на Балхаш, но тянуло в родной край. А здесь слонявшихся со свободными дипломами на руках по учреждениям оказалось немало. Куда бы ты ни приходил, тебя не ждали. Вначале это удивляло, и ты по простоте своей недоумевал, сетуя на невезение, пока не понял простой истины: в захолустном городке, где люди искони занимались одним только рыболовным промыслом, никакого другого, даже мало-мальски приличного ремесла, не было. И поэтому местные кадры, как говорится, мертвой хваткой держались за свои кресла, будто наездник за гриву скакуна. Вскоре незадачливый долговязый молодой специалист всем намозолил глаза. Едва он, сутулясь, неловко протискивался в очередной кабинет, как обладатели заветных мест настораживались и зарывались носами в свои бумаги. В такие минуты ты готов был провалиться на месте. И впервые понял тогда, как нехорошо, стыдно даже быть никому не нужным.

Все это поросло быльем, старые страсти кажутся теперь мелкими, невсамделишными, но тогда... Тогда... Да, тот случай, и потом, с годами, нередко вспоминался тебе, всякий раз вызывая усмешку. Однажды кто-то надумил тебя попытать счастья в тихом, на отшибе, учреждении. Когда ты пришел туда, там, в тесном и душном кабинете с окнами на юг, изнывал от жары тучный мужчина; продолжая обмахиваться газеткой и тяжело отдуваясь, он благодушно принял из твоих рук диплом. Едва взглянув в него, вскинул голову:

— А-а, молодой специалист, не так ли?

— Да, ага...

— Ну, молодой специалист, поди ко мне поближе. Ну, не робей, смелей! Смелей! Вот так. Ну теперь говори, как зовут тебя?

«Повезет...» — радостно мелькнуло в голове. Сердце

лихорадочно забилося, от растерянности ты не успел произнести свое имя, а добродушный толстяк за маленьким, будто сундучок, столиком уже нетерпеливо заерзал.

— Имя... имя твое как, спрашиваю?!

— Жадигер...

— Жадигер, говоришь? Оу, мне знакомо это имя. Да, знавал я вроде некоего Жадигера...

— Может быть...

— Конечно, конечно... очень даже может быть... — Он вдруг радостно встрепенулся. И эта осенившая его внезапно радость, видно, была так велика и неожиданна, что на мгновение он даже оторвался от стула, привстал, но тотчас вновь осел, будто обвалился всей тушей. — Вспомнил! В детстве приходилось мне читать разные хиссы, и героя одной из них, кажется, звали Жадигером... Подожди, подожди, милоч! По-моему, он даже был батыром. Эй, да ты ведь тоже малость на батыра смахиваешь! Хоть и жидковат, зато долговяз...

Веселый толстяк откинулся жирным загривком на спинку скрипнувшего под ним стула, запрокинул голову и хрипло захохотал, завохтал. Наконец он успокоился, вытер заслезившиеся глаза:

— Так вот, милоч, был, значит, в старину такой Жадигер. И, если не подводит память, он... он... — толстяк, разинув рот, застыл в напряженном раздумье. В своем тесном кабинете он явно изнывал от скуки, и теперь доволен тем, что подвернулась какая-никакая забава. Твой небольшой опыт подсказывал, что иной добродушный человек перед тем, как облагодетельствовать кого-либо, испытывает порой потребность сначала покуражиться, как бы в кошки-мышки поиграть, насладиться своей властью. — Слушай... выходит, ты сын нашего достопочтенного рыбака Амиржана?

— Да, ага, я его сын.

— Да, говоришь... Значит, ты сын Амиржана, что жил на этом берегу, а не на том, так?

— Да, с этого берега.

— Надо же, а?! Если ты, черт долговязый, сын почтенного Амиржана, который жил на этом берегу, то... это тот самый Амиржан, что из рода Жакаим, да?

— Да, ага, из рода Жакаим...

— Ну и хорошо, хорошо... Только скажи-ка мне теперь, какой Жакаим? С верховья или низовья?

Ты замаялся, не зная, что означают эти загадочные «верховья» и «низовья».

— Ну, говори, ты из каких жакаимцев — морских или сухопутных?

— Наверное, морской. Рыбаки мы...

— О, аллах, выходит, мы с тобой одного рода, и я, кажется, видел тебя у Амиржана? Ай, как мчится времечко-то, а?! Я ведь помню тебя еще сопливым чумазым мальцом... о-ха-ха-ха!..

Ты, весь в ожидании, покорно стоял, упершись взглядом в истертый носок парусиновой туфли. Тебе, конечно же, было приятно, что веселый толстяк оказался твоим сородичем. И не просто сородичем, а близким — из рода морских жакаимцев. Удача своенравна, и, случается, она идет тебе в руки. Сколько дней ты, как слепой котенок, понапрасну тыкался туда-сюда, и вдруг такая награда за все унижения и волнения: встретился человек, который знал и помнил отца твоего... Мало того, он еще и тебя самого помнил. Даже про нос твой сопливый не забыл, ну и пусть себе потешается, если это ему доставляет удовольствие. Если разобраться по совести — кто из нас в детстве не был сопливым? Помнится, мать, обремененная заботами многолюдного дома, с утра до вечера не вылезала из хлопот, и все же среди нескончаемых своих забот она нет-нет да и подойдет к тебе, червявому карапузу, ползающему по полу, и вытрет, ласково приговаривая, подолом рубашонки вечно замызганный твой нос.

— Значит, выходит...

Ты поднял на толстяка глаза. Но встретившись с острыми зрачками, в упор уставившимися на тебя, поспешил отвести взгляд. И улыбку воспоминания на губах погасил. Ты ничуть не сомневался, что сейчас услышишь наконец из уст этого добродушного веселого человека из одного с тобой рода-племени долгожданные слова о назначении на работу, которая станет смыслом всей твоей жизни. И тогда к приезду Бакизат все будет улажено, останется лишь отпраздновать вашу свадьбу! Нет, не зря, видно, сегодня с утра дергался у тебя правый глаз: это ведь, говорят, к добру, к радости. «Может, еще и к себе на работу возьмет?» — мелькнула робкая догадка. И в надежде услышать сейчас обо всем этом от сородича, ты несмело глянул на него. Поймав твой взгляд, дородный морской жакаимец тяжело качнулся на скрипучем стуле

и вдруг хохотнул. Что-то, пока ему одному известное и забавное, снова его рассмешило:

— Слушай, милоч, если ты из морских жакаимцев, то должен бы знать...

Ты не догадывался, о чем, собственно, собирается вести речь твой шутник сородич.

— Должен, думаю, знать припевку, помнишь, о нашем роде... о морских жакаимцах.

— При-пев-ка?

— Да. Забавная такая:

Недотепа — жакаим!
Велика ли слава:
Воды соленой нахлестался —
Ах трещат суставы...

Ну и как? Здорово, а?!

— Ой, ага... Да ведь это аульные остряки придумали, чтоб друг над другом подсмеиваться...

— Шутка, думаешь? Не-ет, дорогой, совсем не шутка. Суровая жизненная правда. Если хочешь знать, дорогой, у человека, постоянно пьющего соленую воду, откладывается соль в суставах. В медицине так и называется — отложение солей. И потому у него суставы трещат. Гены, понимаешь? А ну, давай-ка, пройди взадвперед. И если ты истинный морской жакаимец, то, аллах свидетель, и у тебя при ходьбе должно стрелять в пятках!..

И тут веселый толстяк всей своей кабаньей зашейной опять отвалился на спинку стула и зашелся неудержимым стонущим хохотом. Хохотал так, что забулькало в брюхе, вылезшем из-за стола. Колыхался в спазмах смеха пухлый бабий подбородок. Колыхались, как студень, рябые жирные щеки, и запропали где-то в щелочках глазки. Только рот разевался, ловил воздух... И кто знает, сколько бы еще продолжалась вся эта мистерия смеха, не влети в это время в кабинет одуревшая от зноя крупная муха. Дородный морской жакаимец тотчас оборвал смех, неожиданно ловко вскочил. Мигом слетела с него и недавняя сонная одурь, наваянная было нещадным аральским зноем. Взял свернутую в трубку газетку и напряженно, на цыпочках, двинулся за возмутительницей спокойствия.

Вот этим мгновением ты и воспользовался. Схватил со стола раскрытые, словно просящие ладошки младенца, свои «корочки» и осторожно выбрался из кабинета. Едва

выйдя, закрыл за собой дверь, привалился спиной к ней. Смех и слезы душили тебя. От зноя или от волнения кровь стучала в висках. И тут за дверью раздался резкий хлопок, от чего ты вздрогнул и пошел, потом побежал по гулкому коридору. И, уже больше никуда не заглядывая, заспешил на станцию: в тот день приезжала из Алма-Аты Бакизат...

С тех пор прошло тринадцать лет. Веселого толстяка из рода морских жакаимцев ты больше не встречал. Впрочем, нет... Однажды, спустя многие годы, увидел его неожиданно в столице, в президиуме научного совещания. Он тебя не заметил, и ты тоже не подошел к нему. Но от тех слов толстяка сородича у тебя и сейчас еще, случается, горят уши. Все чудится, будто кто-то так и норовит тебя уязвить, обозвав сопливым мальцом. Мать Бакизат, богом данная тебе теща, например, и поныне не скрывает своей нелюбви к незадачливому зятю. Она никогда не считала тебя достойной парой для своей дочери: просто терпела, по-женски скумекала, что нельзя, не годится взрослой дочери всю жизнь одной томиться в постели. И своей нелюбви, неприязни к тебе никогда не пыталась скрывать: «Запомни, зятек, это мы, мы тебя в какие-никакие люди вывели!..» И ты терялся тогда и не знал, чем ответить ей, потому что в глубине души всегда признавал некую правоту ее слов.

Да, влиятельные родичи жены имели широкие связи и в городе, и в аулах. И, надо отдать им должное, в первое время усердно принялись за тебя, с ходу подхватили, как подхватывает лодчонку бурное течение. Но в решительный момент ты всякий раз строптивился, точно верблюд у брода. И кто знает, что было бы без их хлопот и усердия, хоть ты десять вузов кончай и все карманы набей себе дипломами. Наверняка бы оказался первым с самого сотворения синего Арала дипломированным рыбаком в этом краю и хлюпал бы сапогами в соленой воде, тянул бы сети, и, может быть, тебя, как первого дипломированного из рода-племени казахов-рыбаков, время от времени выставляли бы, точно редкий экспонат в музее, напоказ во всяких там президиумах. Впрочем, теща твоя не перестает называть тебя «дипломированным рыбаком», при этом ехидно прихихикивая. Она никогда не упускала возможности уколоть тебя побольнее. Особенно если нужно сделать что-нибудь по дому, она, ухмыляясь, бросает дочери: «Так вон же сидит твой дипломированный рыбак... Попроси его хоро-

шенько, поумоляй. Нынче ведь чабаны, хлеборобы, рыбаки там всякие в почете, к их голосу, говорят, даже и в верхах прислушиваются... Ха-ха-ха-а...»

Что ж, пусть смеется... коль случай подвернулся...

* * *

Глядя теперь на свои следы как бы со стороны, он видел и понимал в себе многое такое, что в обыденной жизни часто ускользало от его сознания. Как ему казалось, следы сейчас рассказывали ему о нем самом и даже о его мыслях. Особенно в том месте, где его как раз опять застиг прошедший уж было гнев: шаги там вышли неровные, размашистые и вели, не разбирая дороги... Уж он-то знал причину яростной своей вспышки, знал, отчего горело сердце. Можно даже вообразить, какой у него был вид в то мгновение. Встопорщились, должно быть, густые заиндевелые брови, белыми стали, небось, от злости большие глаза, и был он, наверное, страшен, будто только что из пламени вырвался, сжимая отяжелевшие, словно литые из чугуна, кулаки...

Хорошо еще, что в эти минуты тебя не видела Бакизат... Увидела бы и ожгла исподлобья взглядом: «Ох уж и собачий твой характер!..» Слава всевышнему, надоумившему его вовремя уйти из аула, не то — кто знает, что бы он еще мог натворить в приступе бешенства. В тот момент он был, пожалуй, почти невменяем, горе и отчаяние совсем замутили ему рассудок. Новая беда, навалившаяся вдруг на него, верно, где-то подстерегала, поджидала его до поры до времени. Сколько лет он собирал, копил в себе эти разъедающие душу сомнения, досаду, скрытую даже ярость на себя, сколько захлебывался в этих сомнениях, травя обреченную на молчание свою душу... И вот надо же было так случиться, что последней каплей в чаше терпения стал Сары-Шая. Способный кого угодно вывести из терпения, он с таким видом ворвался в кабинет, будто наступил конец света, подскочил к нему, топоча ногами, завопил: «Ойбай, Ойбай! Лучше смерть, чем снести такой позор!»

Ты молчал, а Сары-Шая, будто подхлестнутый твоим молчанием, закричал, тряся воздетыми руками перед твоим лицом: «Если не дорога тебе твоя честь, так побереги хоть честь нашего славного рода Жакаим! Смотри вон, как попирают ее джигиты рода Тлеу-Кабак!..» Но ты и на сей раз смолчал. И тогда этот сморчок, за-

дрожа от злобы, судорожно сорвал с головы мерлушковый борик: «Апырай, и ты молчишь?! Но где это видано, чтобы среди бела дня, при всем честном народе твою бабу прямо в постели... Какой позор, какой позор!»

«Ну вот что... Сгинь-ка с моих глаз!»

«А?»

«Сгинь, говорю!»

«Сгинь, говоришь! Это мне-то? Хе-х...»

Сары-Шая и не подумал сгинуть, напротив, уселся, устраиваясь поудобней. Закинул ногу на ногу. Немигающие кошачьи желтые глаза ехидно блеснули: «Ты, милочек, это всерьез?»

«Скорпион ты, а не человек... Убирайся!»

«Вон оно как! Ну-ну!.. Народ прозвал меня Сары-Шая, но никак не Скорпионом. Ишь, придумал тоже... скор-пи-он... Ну, спасибо, милочек, порадовал. Очень даже неплохо. Кхе-хе-хе...» — Сары-Шая был удивительно спокоен, даже вроде бы благодушен. Зато ты был готов взорваться гневом. Ты стиснул кулаки. В теле нарастала неодолимая дрожь, и ты знал, что за этим может последовать... Кажется, и Сары-Шая видел твоё состояние. И, продолжая ухмыляться, краем немигающих глаз раза два покосился на твои чугунные, напряженно высовывающиеся из рукавов кулаки: «Милочек, это же кувалды! Ей-богу, кувалды! — Он опять глянул на них, уже в открытую, и, взяв твой кулак в свою ладонь, восхищенно покачал его на весу. — Вот это да-а!.. Жаль только, милочек, что не пользуешься ты ими по назначению...»

Ты торопливо вобрал кулак в рукав. И еще больше задрожал от негодования и собственного бессилия, видя ту же наглую ухмылку на спокойном лице родственника. А он, бестия, между тем, убедившись в твоей беспомощности, ткнул пальцем в твой кулак: «Милочек, убери-ка это... А если уж силы некуда девать, то мой тебе совет: докажи-ка лучше это жеребчику-побратиму своему столичному... хе-хе... Да, да, милочек. Это будет честнее...»

«У, кр-е-тин!»

«А? Это я-то?! — удивленно переспросил Сары-Шая и медленно поднялся со стула. Злорадная искорка в желтых глазах потухла. Бледный и злобный, он взглядом смерил тебя с ног до головы. — Это ты, милочек, кретин! Я бы даже сказал — кретинище, каких свет не видывал! Бабе твоей среди белого дня подол задирают. Мало того, с собой забирают. А ты...»

Что было дальше — ты плохо помнил. Черная, какой

прежде не бывало у тебя, ярость помутила сознание. И тебя понесло, захлестнуло, и ты уж сам не помнишь, что было потом. А от того, что помнишь, готов даже здесь, в безлюдье, от стыда сквозь лед провалиться. И бог бы с ним, что было — то сплыло... но как пережить то, что всю эту безобразную сцену видела кроткая, не смеющая перед тобой глаза поднять смуглая девушка-секретарша?.. Когда ты в слепой ярости сграбастал Сары-Шаю за грудки, она, такая робкая всегда и тихая, подлетела к тебе, повисла на твоей руке: «Агатай!.. Опомнитесь! Что вы делаете, агатай?!» Только тут ты ее и увидел, но уже не владел собой, не слушая мольбы ее, не помня себя, с остервенением бил и бил, загнав в угол этого оборотня, подстрекателя и мучителя своего...

Мороз больно щипнул за щеку, точно ожег. Да, собачий характер... А разве не правда? Разве не он, этот твой собачий характер, выжил тебя сегодня из дома?

* * *

Наступили наконец морозы, и залив под кручей схватился молодым темным льдом. Резкие холода особенно прочно сковали побережье, а еще через несколько дней ледяная гладь протянулась едва ли не до горизонта. Покинув утром дом, одинокий человек побрел по упругому молодому льду и, почти дойдя до его опасной прогибающейся кромки, за которой дымилось открытое море, остановился. А теперь уже за полдень. Короткий зимний день идет на убыль. Но человек все на том же месте, даже и мысли его, не сходя, топчутся все там же. Уже стынь незаметно пробралась сквозь подошвы сапог, и холод одиночества достиг, кажется, сердца, но он все продолжал стоять. Возвращаться обратно по своим следам он сейчас не в силах. Но также не мог идти и вперед, как шел и шел без оглядки утром, потому что там, впереди, в каких-нибудь трех шагах, исходя белесым паром, дымится зимняя вода. Нет покоя сегодня морю. Оно грозно ревет, ворочается, и оттуда, из безбрежной дали, доносится нескончаемый утробный гул, летит сизая изморозь. А остальной мир будто объят печальной тишиной. Сегодня на рассвете хлопьями повалил снег и выбелил, высветил порошей все вокруг — и неприглядно черневшую сушу, и хмурое ледяное поле, ощутимо зыбившееся под ногами. Одни только во-

лочащиеся за ним, будто плохо свитая веревка, собственные следы его, которые, дотащившись сюда, обессиленно обрываются у самых ног. А он... все давит их, вдавливая в снег тяжелыми сапогами, будто боится, что, стоит ему сдвинуться с места, они, следы эти, оживут вдруг и, как бродячие собаки, разбегутся, затеряются в огромном мире и вместе с ними исчезнет и память о нем самом...

Чему ты усмехаешься? Следам своим? Нет, это просто в очередной раз обожгла сердце острая неприязнь к себе и к душе своей, будто затравленной псами. Тебя раздражает это нелепое сходство, претит одно напоминание о нем; однако разве неведомо тебе, что ни одному грешнику на земле, ни одному праведнику не удалось отречься от своих следов или от собственной тени? Нет, дружище, все твои неурядицы, невезения, нескладный твой характер — не камень, который, выйдя в море, можно незаметно сбросить в пучину. Нет, не затопчешь своих следов и кованым сапогом. Так до каких же пор ты собираешься торчать на одном месте, на открытом всем ветрам ледяном поле судьбы? Где ты был раньше, если хотел избавиться от всего, что самому казалось таким отвратительным и скверным в себе? Нет, раньше ты был другим. Поглощенный заботами, разве имел ты возможность рассматривать собственные следы — ты даже лишний раз оглянуться не мог. Совсем еще недавно и в тебе, и вокруг тебя все было по-другому. Все в этом краю — и стар и млад — жили душа в душу, в полном согласии и стремились к чему-то общему, единому. А теперь?.. И теперь, понятно, небо не обрушилось, земля не разверзлась, все так же светит солнце. И люди пребывают вроде бы в здравии и достатке. Все так. Но только вот с тобой что-то случилось. Да и твоих земляков как подменили... Вспомни, разве в былые добрые времена, когда после затяжного осеннего ненастья вдруг неожиданно обрушивалась крепким морозцем зима и залив под кручей за одну ночь затягивало тонким льдом, — разве все мужчины прибрежных аулов не высыпали дружно на море?! Да и кого из сыновей потомственных рыбаков не охватывала радость при появлении первого берегового припая? Кого не тянуло первым выйти на молоденький упругий ледок, чтобы, весело, рискуя, испытать его надежность и натывать вдоль закраины полыньи караульных вышек? Да, ставить первую сеть под молодым льдом для рыбаков всегда столь же радостно и священ-

но, как для дехканина по весне с молитвенными словами на устах бросить первую горсть семян в свежевспаханную землю...

Но, опережая самых нетерпеливых в работе удальцов, раньше всех отпраплялся в море все же ты, не раз вставал по ночам, чтобы не пропустить желанного часа, — и когда, наконец, накатившая с севера ночная стужа до звона натягивала небесный, с яркими колючими звездами купол, ты уже был на ногах. Первым делом отпраплялся на конюшню. Широко распахивал забухшие, прихваченные морозцем-баловником ворота. Густой, устоявшийся запах зеленого курака с порога обдавал тебя, щекоча ноздри. А гнедой, со звездочкой во лбу жеребец чутко дремал в стойле, в дальнем темном углу конюшни. Почувяв хозяина, он негромко всхрапывал. Привычным движением ты, бывало, накидывал узду, с тихим лязгом вправлял железные удила, набрасывал на спину пропахшее потом седло, сильным рывком стягивал подпругу. А с коня еще не сошла сонная истома, и оттого он покладист и послушен. И когда рослый сутуловатый мужчина, едва коснувшись стремени, всей своей тяжестью вдруг ловко опускался в седло, жеребец на мгновение будто терялся, оседал, переступая ногами, но тотчас твердел телом, обретал устойчивость. В ночных, еще сумеречных глазах его под набрякшим надглазьем вспыхивал фиолетовый затаенный огонь, и, нервно косясь по сторонам, конь своевольно поворачивал на привычную тропу к знакомому лугу за аулом, где всласть нагулялся прошлым летом. Однако ты властным движением руки направлял его к побережью. Раздосадованный жеребец мотал головой и, словно стреноженный, с нервной злостью мелко перебирал копытами по гулкой мерзлой земле. И тогда ты, злясь на его строптивость, крепко натягивал поводья и одновременно стискивал шенкеля так, что у жеребца, казалось, вот-вот затрещат ребра. И, почувяв силу ездока, жеребец поворачивал куда надо и через мгновение послушно нес тебя легкой широкой рысью.

А между тем занималось уже утро. Мороз поскрипывал, пощипывал. От ладной быстрой рыси задувал в лицо сиверко, и душа твоя словно обретала крылья. Внизу из-под копыт взлетали снежные опметья, тотчас рассыпавшиеся в морозную пыль; а по всей степной шире причудливо горбатились, волна за волной уходили вдаль сугробы — уже слежавшиеся, охваченные за ночь

плотной гляцевитой коркой, и еще рыхловатые, вздыбленные, будто волчий загривок; и жеребец легко, с глухим топотом и мерзлым визгом снега вспахивал сувои, а в глубоких местах прокладывал себе путь чуть ли не грудью, не сбиваясь при этом с рыси и все более распляясь; и неудержимо рвался вперед, одолевая перевал за перевалом, пока не достигал косогора, за которым во всем своем безбрежье открывалось вдруг, играя солнечными бликами, море. Здесь ты круто осаживал и, встав на стремяна, вытягивался, вглядывался с орлиной выси в эту полную блеска и света даль, и каждый раз от восторга подкатывалось и замирало сердце. Море, не вмещавшееся в неоглядную поднебесную ширь, уходившее за горизонт, казалось тебе в эту минуту особенно могущественным. Еще вчера оно, занемогшее, стонало под кручей и с тупым размеренным ожесточением хлестало, било вспененными волнами в каменистый берег, угрюмо шалея от собственного смятения, — но вот за одну лишь ночь сковалось по берегу и заливам льдом и смиренно замерло, ослепительно сверкая под солнечными лучами, ровной голубой гладью. Разве можно, глядя на него, удержаться рыбаку от счастливой улыбки? И нет под тобой ни коня, ни тверди — ты со своим рвущимся из груди сердцем весь там, в этом вечно манящем, вечно уходящем просторе.

Что говорить, и на твою долю выпадали прежде такие вот счастливые дни. Ты давно понял, что предкам твоим, бесхитростным скотоводам, было ведомо немало мудрых истин. Это они сокрушались: «Напрасно ты ищешь тень прошедшего дня». В самом деле, где они теперь, эти следы или тени прошлого, способные хотя бы на время утешить твою душу, когда, как сейчас, в минуту смятения оказываешься ты вдруг в тупике? И если счастье упорно отворачивается от тебя, как гулящая жена от опостылевшей супружеской постели, то, считай, и дни, и месяцы, и годы твоей жизни предстают точь-в-точь в обличье лисы-плутовки, сбивая тебя же самого с пути своими прихотливыми следами. Не потому ли ты с утра томишься здесь на льду и тщетно пытаешься докопаться до сути всего того, что происходит с тобой? А вот попробуй представить свои следы в те благие времена, когда счастье, казалось, само шло в твои сети, — как, например, когда ты, взволнованный, бывало, круто осаживал гнедого над самым обрывом... Да-да, в самом деле, как же было дальше? И неуже-

ли человек, настигнутый несчастьем, порой устает не только телом, но и душой, памятью?.. Но нет, ты-то еще помнишь, как оно бывало. Дальше, осторожно спустившись с конем по круче, ты стреноживал его в прибрежных, раздерганных вчерашним ветром зарослях и выходил на лед. Шел, шел... то быстро, то медленно, осторожно, часто останавливаясь, если лед казался тебе подозрительным, и следы твои выдавали только решительность твою или только осторожность, но рабом судьбы ты не бывал. Порою ты пробовал лед на прочность, с отяжкой долбил кованым каблуком. Так ты все дальше и дальше уходил от берега, определяя, наконец, ту главную черту, до которой можно было ставить сети без опаски. Осмотрев еще раз лед и укрепив вдоль кромки надежного ледяного припая камышовые вешки, забавно походившие издали на закутанных детишек, ты, довольный, возвращался назад. Так бывало всегда. Так было и в прошлом. А сегодня?

Темнолицый сутулый человек поднял голову, задумчиво оглянулся вокруг, как бы желая понять, чем же все-таки отличается сегодняшней день от множества других — прошедших — дней его жизни и почему вдруг сегодня стоит он один-одинешенек на безлюдном ледяном поле. Ледяном поле судьбы. Потом опять посмотрел на цепочку следов, обреченно обрывающихся у самых его ног. Глянь, они точно обессилели — кое-как дотащились до него, доползли и легли у его ног тихо и покорно. Дальше — тупик. Только кого винить? И без того в последнее время в его жизни не было ни склада ни лада, а после поездки к устью Сырдарьи все и вовсе расползлось по швам. О, как возмущалась Бакизат, привыкшая всегда и во всем настаивать на своем. В гневе и запальчивости каких только слов не обрушила она на него! «Несчастный, — сказала она, — посмотри хоть на себя. На кого ты стал похож!» И еще говорила: «В этой своей вечной погоне за рыбой ты и сам весь измотался, и семью извел. Хватит! Никуда не поедешь!»

На улице перед домом подвывал мотор видавшего виды колхозного грузовика. Шофер сигналил уже второй или третий раз.

— Сейчас! — с досадой крикнул ты в ответ.

Тебя раздражал еще и этот шофер. Порядочный-таки нахал с вечно тлеющей папироской в углу рта, в низко надвинутой на лоб замасленной кепке со сломанным козырьком. И машина эта такая же тархтелка, как и

он сам. Не сигналит — ревет по-дурному, как верблюдица к дойке.

— Ну пойми же, дорогая... — сказал ты, насколько возможно смягчив голос.

— Не поедешь — и все! И слышать не хочу.

— Батиш... ты же умница. Постарайся меня понять. Ну, просто нельзя мне не ехать.

— Это почему?

— Да ведь сама знаешь, там... там наши люди...

— Ничего я не знаю. Знаю только, что ради прихоти своей ты всем готов жертвовать.

— Ну, милая... что с тобой?

— А ничего. Ты разве не был там совсем недавно?

— Понимаешь, надо мне... надо! Сама посуди, все лето рыбаки пропадают там, на Сырдарье. Легко ли им? И у них тоже семья: жены, дети... Представь только: солнце, слепни и комары, улов ни к черту... Ну кто еще, как не я, обязан их проведать?

Бакизат молчала, стояла отвернувшись. Тебе казалось, она задумалась. Слава аллаху, подумал ты и несмело подошел к ней, встал рядом.

— Батиш... ну, умоляю тебя... в последний раз. Клянись, съезжу только и вернусь.

— Сказала: не поедешь!

— Батиш... Батиш-жан...

Ты шагнул было за ней, но тотчас остановился. Дверь громко захлопнулась перед самым твоим носом. Ты вздрогнул, не сразу убрал руку, нерешительно протянувшуюся за ней. И все стоял, пока не затих там стремительно удалявшийся сердитый перестук каблуков.

* * *

Шофер, едва покосившись на председателя, сразу смекнул, что шеф не на шутку чем-то подавлен, и потому не обмолвился ни словом. Записной балагур и ёрник, он держался с покладистым председателем на короткой ноге и вел себя, бывало, панибратски, будто с приятелем, с которым только что принял, как он выражается, «по стопарю». Но сейчас шефу было явно не по себе, и шофер, положив на руль заглохшей отчего-то машины тяжелые руки с никелевым колечком на мизинце, терпеливо ждал приказа.

— Поехали!

— Это мы сейчас...

— Газуй давай!

— Ма-а-мент!

Шофер поплевал на ладони. Перед тем как нажать на стартер, наклонился к разболтанному щитку, пощупал-потрогал что-то под ногами. Машина, как обычно, сразу не завелась: мотор почихал, покашлял и, прогромыхнув, тотчас сорвался на предсмертный крик. Шофер загнул витиеватым матом, в сердцах даванул раза два на газ, после чего машина зашлась дрожью, заколотилась как в лихорадке и, проскрежетав еще чем-то, натужно, нехотя сдвинулась с места. Каждый раз одно и то же. Это был какой-то своеобразный ритуал, проходивший в более или менее строгой последовательности, и к нему в ауле давно привыкли. Все знали, что машина не тронется с места, пока шофер как следует не рассвирепеет, не разразится заковыристой руганью, не попинает железку под ногами, не откинет помятый капот и, поковырявшись там стебельком или спичкой, не поплюет на что-то ядовито шипящее. Рано или поздно все равно она заведется, все равно побежит, переваливаясь по рытвинам и ухабам родных мест. А потому пусть покапризничает, пусть хрипит и трясется; в сущности, она ведь безотказная. Да и куда ей деваться, единственной в рыбацьем колхозе тарахтелке? Послушная крутому нраву своего бессменного водителя, она никого не оставит на полпути, худо ли, бедно ли, а всех довезет-домчит куда надо.

Ну а если со стороны глянуть — так это была не машина, а гроб с музыкой. Посторонний человек ни за что бы не сказал, что эта расшатанная всевозможными передрягами и временем коробка может быть к чему-либо пригодной. Все железки ее давно изъедены ржой, все деревяшки пересохли и потрескались, гайки ослабли, шурупы выскочили, и если все это еще как-то держалось вместе, то лишь на честном слове и божьей милости. Запуская ее каждый раз непременно спереди, непременно с ручкой, шофер обычно предпочитал не выключать мотор, особенно на коротких остановках, оставлял тарахтеть на малых оборотах. Зато в дороге машина временами выказывала необыкновенную прыть: мчалась вовсю, споря и переругиваясь с ветром, и останавливалась лишь тогда, когда или кончалось горючее, или закипала вода в радиаторе, или вдруг на ходу отваливалась какая-нибудь ее многострадальная часть. «Может, и на этот раз не подведет», — надеялся про себя пред-

седатель. Если выдержит забитый накипью радиатор, не заглохнет мотор, склонный к перебоям, не взорвутся давно облысевшие шины, то до захода солнца машина как-нибудь одолеет эти пятьсот пустынных километров.

Не успели еще порядком опомниться, как обогнули древний увал Бел-Аран, величественно вытянувшийся позади рыбацкого аула. За ним впереди открывался широкий, такой же древний кочевой простор — начиналась бесконечная дорога. С одной стороны раскинулось синее море, с другой — выгоревшая бурая всхолмленная степь. А между ними белела змейка проселочной дороги, по которой сейчас бойко катилась, подпрыгивая на ухабах и рытвинах и вздымая за собой клубы степной пыли, колхозная развалюха. Понемногу развеивались незаслуженная обида и боль, только помнились клятвенные слова, сказанные жене. Конечно же, что бы там ни случилось, слово свое он сдержит. Приедет к рыбакам, оглядится, потолкует о делах, заночует, а на следующий день, как обещал, спозаранку в обратный путь. Лишь бы тарактелка не подвела, лишь бы сегодня вечером добраться до рыбацкого стана, до устья Сырдарьи.

— Жми! Жми-ка, браток!

— Ма-а-мент!

И опять, поплевав попеременно на ладони, услужливый нынче шофер пригнулся к баранке. Председатель покосился на него, усмехнулся. Отчаянный джигит. В здешних краях никто еще не видел, чтобы у его развалюхи светились одновременно обе фары. И в самую непроглядную ночь одноглазым дьяволом метался его драндулет по бездорожью, по дикой степи, где рыщет разве что одно зверье. Спутников охватывал ужас. Обычно он хмуро сидел за баранкой, молчал, по самые глаза надвинув промасленную кепку со сломанным козырьком, в углу рта неизменно дымилась папироска. Но стоило ему заложить хотя бы малость, часами мог молоть языком. Начиная пространно рассказывать, что видел, что подумал, где и что ел и пил. Или пересказывал то, что слышал, без конца озирался на сидевшего рядом спутника. И если тот, измученный ездой, слушал рассеянно или вдруг погружался в свои невеселые мысли, шофер, крутя баранку одной рукой, другой ревниво толкал спутника в бок. Завладев вниманием спутника, он с прежним жаром продолжал свою бесконечную, как сама ночная дорога, болтовню. Порой так увлекался, что и вовсе отпускал руль, и не дай бог в таких случаях